



И. С. ТУРГЕНЕВ

Воспоминание о Белинском

<Фрагмент>

<...>

Белинский был — что у нас редко — действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его «наглости», возмущались его «грубостью», писали на него доносы, распространяли про него клеветы, — эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губ. В этом последнем отношении он не походил на тогдашних москвичей. Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он признавал за истину, в силу своих принципов. Приведу один пример. Вскоре после моего знакомства с ним его снова начали тревожить те вопросы, которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, особенно в молодости: философические вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к Божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т. п. Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков (он даже по-французски читал с великим трудом) и не находя в русских книгах ничего, что могло бы удовлетворить его пытливость, Белинский поневоле должен был прибегать к разговорам с друзьями, к продолжительным толкам, суждениям и расспросам; и он отдавался им со всем лихорадочным жаром своей жаждавшей правды души. Таким именно путем он, еще в Москве, усвоил себе между прочим главные выводы и даже терминологию гегелевской философии, беспрекословно царившей тогда в умах

молодежи. Дело не обходилось, конечно, без недоразумений, иногда даже комических: друзья-наставники Белинского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, часто сами плохо и поверхностно ее понимали *; но уже Гете сказал, что —

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst... ** —

а Белинский был именно ein guter Mann, — был правдивый и честный человек. К тому же его в этих случаях выручал замечательный инстинкт, которым он был одарен; но об этом речь впереди. Итак, когда я познакомился с Белинским, его мучили сомнения. Эту фразу я часто слушал и сам употреблял не однажды, но в действительности и вполне она применялась к одному Белинскому. Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пища, неотступно грызли и жгли его; он не позволял себе забыть и не знал усталости; он денно и ночью бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему, он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было нелегко. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!..» Сознаюсь, что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку

* Много хлопот тогда наделало в Москве известное изречение Гегеля: «Что разумно — то действительно, что действительно — то разумно». С первой половиной изречения все соглашались, но как было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что тогда существовало в России, за разумное? Толковали, толковали и порешили: вторую половину изречения *не допустить*. Если б кто-нибудь шепнул тогда молодым философам, что Гегель *не все существующее признает за действительное*, — много бы умственной работы и томительных прений было сбережено; они увидали бы, что эта знаменитая формула, как и многие другие, есть простая тавтология и, в сущности, значит только то, что «*orium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva*» — то есть опиум заставляет спать по той причине, что в нем есть снотворная сила (Мольер).

** Добрый человек и в неясном своем стремлении всегда имеет сознание прямого пути¹.

на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова, и если при воспоминании об *этой* правдивости, об *этой* небоязни смешного улыбка может прийти на уста, то разве — улыбка умиления и удивления...

Лишь добившись удовлетворившего его в то время результата, Белинский успокоился и, отложив размышления о тех капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Со мной он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался гегелевской философией и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы. Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Впрочем, мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления.

Сведения Белинского были необширны; он знал мало, и в этом нет ничего удивительного. В отсутствии трудолюбия, в лени даже враги не обвиняли его; но бедность, окружавшая его сызмала, плохое воспитание, несчастные обстоятельства, ранние болезни, а потом необходимость спешной работы из-за куска хлеба — все это вместе взятое помешало Белинскому приобрести правильные познания, хотя, например, русскую литературу, ее историю он изучил основательно. Но скажу более: именно это недостаточное знание является в этом случае характеристическим признаком, почти необходимостью. Белинский был тем, что я позволю себе назвать *центральной натурой*; он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне и с хороших, и с дурных его сторон. Ученый человек — не говорю «образованный» — это другой вопрос, но ученый человек, именно в силу своей учености, не мог бы быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и, вероятно, не было бы обоюдного понимания. Вожди своих современников в деле критики общественной, эстетической, в деле критического самосознания (мне кажется, что мое замечание имеет применение общее, но на этот раз я ограничусь одной этой стороной), вожди современников, говорю я, должны, конечно, стоять выше их, обладать более нормально устроенной головою, более ясным взглядом, большей твердостью характера; но между этими вождями и их последователями не должно быть бездны. Одно слово «последователь»

уже предполагает возможность шествия по одному направлению, тесной связи. Вождь может возбуждать негодование, досаду в тех, которых он тревожит, поднимает с места, двигает вперед; проклинать они его могут, но понимать они должны его всегда. Он должен стоять выше их, да, но и близко к ним; он должен участвовать не в одних их качествах и свойствах, но и в недостатках их: он тем самым глубже и больше чувствует эти недостатки. Сенковский был не в пример учнее, не говорю уже Белинского, но и большей части своих русских современников; а какой след оставил он? Мне скажут, что его деятельность была бесплодна и вредна не потому, что он был ученый, а потому, что у него не было убеждений, что он был нам чужой, не понимал нас, не сочувствовал нам; против этого я спорить не стану, но мне кажется, что самый его скептицизм, его вычурность и гадливость, его презрительное глумление, педантство, холод, все его особенности отчасти происходили оттого, что у него как у человека ученого, специалиста и цели, и симпатии были другие, чем у массы общества. Сенковский был не только учен, он был остроумен, игрив, блестящ; молодые чиновники и офицеры восхищались им, особенно в провинции; но не того было нужно массе читателей, а того, что было нужно: критического и общественного чутья, вкуса, понимания насущных потребностей эпохи и, главное, жара, любви к меньшей, невежественной братии — у него и следа не замечалось. Он забавлял своих читателей, втайне презирая их, как неучей; и они забавлялись им — и на грош ему не верили. Смею надеяться, что мне не станут приписывать желания защищать и как бы рекомендовать невежество: я указываю только на физиологический факт в развитии нашего сознания. Понятно, что какой-нибудь Лессинг, для того чтобы стать вождем своего поколения, полным представителем своей народности, должен был быть человеком почти всеобъемлющей учености; в нем отражалась, в нем находила свой голос, свою мысль Германия, он был *германской центральной натурой*. Но Белинский, который до некоторой степени заслуживает название русского Лессинга, Белинский, значение которого, по смыслу и влиянию своему, действительно напоминает значение великого германского критика, мог сделаться тем, чем он был, и без большого запаса научных познаний. Он смешивал старшего Питта (лорда Чатама) с его сыном, В. Питтом, — что за беда! «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...»² Для того, что ему предстояло исполнить, он знал довольно. Откуда он бы взял тот жар и ту страсть, с которыми он постоянно и всюду ратовал за просвещение, если б он на самом деле не испытал всю горечь невежества? Немец старается исправить недостатки своего народа, убедившись размышлением в их вреде; русский еще долго будет сам болеть ими.

Белинский бесспорно обладал главными качествами великого критика; и если в деле науки, знания ему приходилось заимствовать от товарищей, принимать их слова на веру — в деле критики ему не у кого было спрашиваться; напротив, другие слушались его; почин оставался постоянно за ним. Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Белинский не обманывался внешностью, обстановкой, не подчинялся никаким влияниям и веяниям; он сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное и с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор — высказывал его вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения. Кто бывал свидетелем критических ошибок, в которые впадали даже замечательные умы (стоит вспомнить хоть Пушкина, который в «Марфе Посаднице» г-на Погодина видел «что-то шекспировское!»)³ — тот не мог не почувствовать уважения перед метким суждением, верным вкусом и *инстинктом* Белинского, перед его умением «читать между строками». Не говорю уже о статьях, в которых он отводил подобающее им место прежним деятелям нашей словесности; не говорю также и о тех статьях, которыми определялось значение писателей еще живых, подводился итог их деятельности, итог, принятый и скрепленный, как уже сказано выше, потомством*, но при появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести — никто ни прежде Белинского, ни лучше его не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров — не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других! Без невольного удивления перед критической диагнозой Белинского нельзя прочесть, между прочим, ту небольшую выноску, сделанную им в одном из своих годичных обзоров, в которой он по одной песне о купце Калашникове, появившейся без подписи в «Литературной газете», предрекал великую будущность автора⁴. Подобные черты встречаются беспрестанно у Белинского. Приведу один пример. В 1846 году в «Отечественных записках» появилась повесть г-на Григоровича под заглавием «Деревня», по времени первая попытка сближения нашей литературы с народной жизнью, первая из наших «деревенских историй» — *Dorfgeschichten*. Написана она была языком несколько изысканным — не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта — было несомненно. Покойный И. И. Панаев, человек добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхушек, уцепился за некоторые смешные выражения «Деревни»

* См. статьи его о Марлинском, Баратынском, Загоскине и т. д.

и, обрадовавшись случаю поглумиться, стал поднимать насмех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, каково недоумение хохотавших приятелей, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности? Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки из «Деревни», но уже восхищаясь ими, — что он и сделал.

Не могу на этом месте не упомянуть кстати о мистификации, которой в то время неоднократно подвергался один издатель толстого журнала, столь же одаренный практическими талантами, сколь обиженный природою насчет эстетических способностей⁵. Ему, например, кто-нибудь из кружка Белинского приносил новое стихотворение и принимался читать, не предварив своей жертвы ни одним словом, в чем состояла суть стихотворения и почему оно удостаивалось прочтения. Тон сперва пускался в ход иронический; издатель, заключающий из этого тона, что ему хотят представить образчик безвкусыя или нелепости, начинал посмеиваться, пожимать плечами; тогда чтец переводил понемногу тон из иронического в серьезный, важный, восторженный; издатель, полагая, что он ошибся, не так понял, начинал одобрительно мычать, качать головою, иногда даже произносил: «Недурно! хорошо!» Тогда чтец снова прибегал к ироническим нотам и снова увлекал за собою слушателя, возвращался к восторженному настроению — и тот опять похваливал... Если стихотворение попадалось длинное, подобные вариации, напоминающие игру в головки из каучука, то и дело меняющие, свое выражение под давлением пальцев, можно было совершить несколько раз. Кончалось тем, что несчастный издатель приходил в совершенный тупик и уже не изображал на своем, впрочем, весьма выразительном, лице ни сочувственного одобрения, ни сочувственного порицания. У Белинского нервы не были довольно крепки, сам он не предавался подобным упражнениям; да и правдивость его была слишком велика — он не мог изменить ей даже ради шутки, но смеялся он до слез, когда ему сообщали подробности мистификации.

Другое замечательное качество Белинского как критика было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказывается «злоба дня». Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; не в пору возвещенная истина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал

даровитый Добролюбов⁶; он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура^{*}, Пальмерстона, вообще парламентаризм как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 г.) подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой он действовал, ему не следовало выходить из круга чисто литературной критики. Во-первых, при тогдашних официальных, житейских, цензурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно; уже и так он едва мог устоять против бури угроз и доносов, которую возбудило его отрицание наших псевдоклассических авторитетов; а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед; что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные — и что именно в этом и состояло его собственное призвание. Его политические, социальные убеждения были очень сильны и определительно резки; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было думать применять их, проводить их в действительность; да если б оно и стало возможным — в нем самом не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента; он и это знал — и, с свойственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы^{**}. Зато как *литературный* критик он был именно тем, что англичане называют «the right man in the right place», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать об его преемниках. Правда и то, что задача их была труднее и сложнее. Незадолго до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выйти из того тесного круга; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранил и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника, — на В. Н. Майкова, брата поэта⁷; к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща и точно такой же смертью, какой погиб недавно другой много обещавший юноша, Д. И. Писарев⁸.

* Пишущий эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: «Ну, брат, какой же ты Кавур!» Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется!

** См. второе прибавление в конце отрывка.

Имя Писарева напоминает мне следующее: весной 1867 года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь — посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине⁹. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду. «Вы, — начал я, — втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: “Несчастный друг” и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали *нарочно*, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру, — но преувеличение истины, карикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов; стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, *обязанный* прежде всех ощущать, чуютъ насущное, нужное, безотлагательное, должны обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский — тот никогда бы не впал в такой просак!» Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною.

Само собою разумеется, что понимание Белинским своего времени, своего назначения не мешало его задушевному убеждению сквозить в каждом слове его статей, тем более что его отрицательная деятельность на поприще критики как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он бы, наверное, выбрал в политически развитом обществе. Что он чувствовал и что он думал, про то ведал он один, ведали и некоторые из его друзей, но что он делал, что он печатал — неуклонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно, на ней. Только в известном одном письме эта страсть, которую он

...во тьме ночной

Вскормил слезами и тоской¹⁰

прорвалась наружу — как тот огонь, о котором говорит Лермонтов.

Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из лекции о Пушкине, прочтенной мною в 1859 году перед немногочисленным обществом¹¹. Стараясь изобразить характер эпохи 30-х, 40-х годов, я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о лермонтовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминание этого имени возбудило негодование большей части моих слушателей. Вот этот отрывок. (Мне придется начать несколько издалека; но это неизбежно.)

А между тем как наш великий художник (Пушкин), отвернувшись от толпы и приблизившись, насколько мог, к народу, обдумывал свои заветные творения, пока по душе его проходили те образы, изучение которых невольно зарождает в нас мысль, что он один мог бы подарить нас и народной драмой, и народной эпопеей, — в нашем обществе, в нашей литературе совершались если не великие, то знаменательные события. Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 г.) у нас понемногу сложилось убеждение, конечно, справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы — великое, вполне овладевшее собою, незыблемо-твердое государство и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого — и стоит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина*. Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать ложно-величавой школой; продолжалось недолго, хотя отражение ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, чем собственно литературная художественная сфера, не прекратилось и до сих пор. Оно продолжалось недолго — но что было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем что-то неистинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества — и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего рус-

* Эти имена, которые я тогда не решился назвать, вероятно, приходят теперь на уста каждому читателю, — имена Марлинского, Кукольника, Загоскина, Венедиктова, Брюллова, Каратыгина и др.

ского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался. Но не последние глубоко художественные произведения Пушкина были причиной этого падения. Если бы даже они явились при его жизни — мы сомневаемся, оценила ли бы их тогда оглушенная, сбита с толку публика. Они не могли служить полемическим целям; они могли одержать, и они одержали, победу своей собственной красотой, сопоставлением этой красоты и силы с безобразием и слабостью того ложно-величавого призрака; но в первое время, именно для того, чтобы разоблачить этот призрак во всей его пустоте, нужны были другие орудия, другие, более пронзительные силы — силы байронического лиризма, который уже являлся у нас однажды, но поверхностно и несерьезно¹²; и силы критики, юмора. И они не замедлили явиться. В сфере художества заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли — Белинский.

...В прошлой беседе с вами мы говорили о том значении, которое будущий историк нашей литературы придаст появлению Пушкина; но, без сомнения, обратит на себя внимание наших Маколеев (если только нам суждено иметь Маколеев) и та минута, когда перед раздувшимся и раздутым, как бы официальным великаном предстали: с одной стороны, гусарский офицер, светский лев, из уст которого общество услышало впервые неведомый ему прежде, беспощадный укор*, да темный мало-российский учитель с своей грозной комедией, на челе которой стояло эпиграфом: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»; а с другой стороны — такой же темный, недоучившийся студент, дерзнувший провозгласить, что у нас еще не было литературы, что Ломоносов не был поэтом, что не только Херасков и Петров, но и Державин и Дмитриев не могут нам служить образцами, что и новейшие великие люди ничего не сделали. Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу, деятелей рухнула не только та литературная школа, которую мы назвали ложно-величавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины. Победа была решена скоро. В то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина, того Пушкина, имя которого так было дорого самим нововводителям, которое они окружали такою полною любовью. Идеал, которому они служили — сознательно или бессознательно (Гоголь, как известно, до конца от него отчурался и отнекивался), — идеал этот не мог ужиться с пушкинским идеалом, назло им самим. Сила вещей сильнее всякой отдельной, личной силы — так же, как общее в нас сильнее наших собственных наклонностей. Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложно-величавой фразы; наступило

* Прошу позволения привести слова одной тогдашней великосветской барыни, встретившей меня следующим восклицанием: «Avez-vous lu la "Douma"? Qui pouvalt s'attendre a cela de la part de Lermontoff Lui, qui venalt de dire» <Читали ли вы «Думу»? Кто бы мог ожидать этого от Лермонтова! Он, который только что говорил>: «Я, Матерь Божия, нонче с молитвой! C'est affreux!» <Это ужасно.>

время критики, полемики, сатиры. Вместо слова «наступило» мы бы могли, вспомнив Фонвизина, Новикова, употребить слово «возвращалось». Подобные «возвратные» обороты бегущего вперед исторического колеса известны всем наблюдателям жизни народов. Общество, пораженное внезапным сознанием собственных недостатков, предчувствуя другие, еще более горькие разочарования в будущем — которые и сбылись*, — с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что отвечало его новым потребностям. «Торквато Тассо» Кукольника, «Рука всевышнего» — исчезли, как мыльные пузыри; но и «Медным всадником» нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью».

Здесь следовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся следующими словами:

«Сила независимой, критикующей, протестующей личности восстала против фальши, против пошлости — а на какой ступени общества тогда не царил пошлость? — против того ложно-общего, несправедливо-узаконенного, что не имело разумных прав на подчинение себе личности...» И я продолжал так:

«Мы просим теперь у вас позволения остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаем, не совсем благозвучно в ваших ушах. Мы говорим о Белинском. С этим именем сопряжено воспоминание о некоторых увлечениях, но, смеем думать, и о великих заслугах. Слово его живет до сих пор, и мы не можем допустить, чтобы Россия, именно теперь** с жадностью его читающая, была совершенно неправа в своей любви к нему. Мы упомянули о нем не потому, что были связаны с ним личными, дружественными отношениями; мы желаем обратить ваше внимание на самый принцип его деятельности. Имя этому принципу — идеализм: Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доньше¹³. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти, тот идеал, которому он служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и лермонтовский протест и гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушал он старые авторитеты: наши так называемые славы, на которые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения...»

Быть может, некоторые читатели удивятся слову «идеалист», которым я почел за нужное охарактеризовать Белинского. На это я замечу, что, во-первых, в 59-м году не было возможности называть многие

* Трех лет еще не прошло с Парижского мира 1856 года, когда я читал эти лекции.

** Тогда, только что вышли первые томы полного издания его сочинений.

вещи настоящими их именами; а во-вторых, мне — признаюсь в том — доставило немалое удовольствие объявить Белинского «идеалистом» перед сборищем людей, которым имя его представлялось неразрывно связанным с понятием о цинике, грубом материалисте и т. п. К тому же и самое название шло к нему. Белинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойства весьма определенного и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией — Западом, наконец. Люди благонамеренные, но недоброжелательные употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна, что и распространяться о ней не стоит: недоразумения тут немислимы. Белинский посвятил всего себя служению этому идеалу; всеми своими симпатиями, всей своей деятельностью принадлежал он к лагерю «западников», как их прозвали их противники. Он был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя, но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом для развития собственных ее сил, собственного ее значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны*. Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата — впрочем, относиться и к ним свободно, критически, — вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть наконец самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот — разумеется, не на лад М. Н. Загоскина; благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзвы. Да, Белинский любил Россию; но он так же пламенно любил просвещение и свободу, соединить в одно эти высшие для него интересы — вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился. Уверять, что он из одного раболепного и неосмысленного смирения недоучки преклонялся пред Западом, — значило не знать его вовсе; к тому же не смирением грешат обыкновенно недоучки. Белинский еще потому благоговел перед памятью Петра Великого и не обинуясь признавал его нашим спасителем,

* Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта, «Петр Великий» и с особенным чувством произносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим

Ряд изумленных поколений
Рукой могучей за собой¹⁴.

что уже при Алексее Михайловиче он в нашем старом общественном и гражданском строе находил несомненные признаки разложения — и, следовательно, не мог верить в правильное и нормальное развитие нашего организма, подобное тому, каким оно является на Западе. Дело Петра Великого было, точно, насильем, было тем, что в новейшее время получило название *coup d'etat**, но только по милости малого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы втолкнуты в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще доньше не прекратилась. В подтверждение этого мнения можно было бы привести самые недавние примеры. Какое место мы уже заняли в той семье — это покажет история; но несомненно то, что мы шли до сих пор, и должны были идти (с чем господа славянофилы, конечно, не согласятся), *должны* были идти другими путями, чем более или менее органически развивавшиеся западные народы.

А что западные убеждения Белинского ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая была во всем его существе, — тому доказательством служит каждая его статья**. Да, он чувствовал русскую суть как никто. Не признавая наших лжеклассических, лженародных авторитетов, ниспровергая их — он в то же время тоньше всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что было действительно самобытного, оригинального в произведениях нашей литературы. Ни у кого ухо не было более чутко; никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изящный оборот речи поражали его мгновенно, и слушать его простое, несколько однообразное, но горячее и правдивое чтение какого-нибудь пушкинского стихотворения или лермонтовского «Мцыри» было истинным наслаждением. Прозу, особенно любимого своего Гоголя, он читал хуже, да и голос его скоро ослабевал.

Еще одно замечательное качество Белинского как критика состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, «*in earnest*»; он не шутил ни с предметом своих разысканий, ни с читателем, ни с самим собою, а позднейшее, столь распространенное глумление он бы отвергнул как недостойное легкомыслие или трусость. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность

* Государственного переворота (*фр.*).

** См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Кольцове — и особенно его статьи о народных песнях и былинах¹⁵. При слабости и скудости тогдашних филологических и археологических данных они поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества.

собственных убеждений. Человек свистит, хохочет... Поди угадывай, разумеешь его речь, куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом «зубы скалит»¹⁶. Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину, и что смеющимся устами легче высказывать ее... Да разве Белинский жил в такое время, когда можно было все высказывать начистоту? И однако же не прибегал он к глумлению, к «излюбленному» свистанию, к зубоскальству. Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики тем «свистанием», недалеко ушел от того смеха, которым встречались безнравственные выходки Сенковского... И здесь и там выпячивалась та же склонность к грубой потехе, к гаерству, — склонность, к сожаленью, свойственная русскому человеку, и которую не следовало бы поблажать. Хохот невежества почти так же противен — так же и вреден — как его злоба. Впрочем, Белинский сам про себя говорил, что он шутить не мастер, ирония его была очень веска и неповоротлива; она тотчас становилась сарказмом, была не в бровь, а в глаз. И в разговоре, так же как и с пером в руке, он не блистал остроумием, не обладал тем, что французы называют *esprit*, не ослеплял игрою искусной диалектики; но в нем жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и в конце концов увлекательно. При совершенном отсутствии того, что обыкновенно величают элоквенцией, при явной неспособности и неохоте к «уснащиванию», к фразе — Белинский был одним из красноречивейших русских людей, если принимать слово «красноречие» в смысле силы убеждения, той силы, которую, например, афиняне признавали в Перикле, говоря, что каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя.

Белинский, как известно, не был поклонником принципа — искусство для искусства; да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, с какой комической яростью он однажды при мне напал на — отсутствующего, разумеется, Пушкина за его два стиха в «Поэт и чернь»¹⁷

Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь!

«И конечно, — твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол, — конечно, дороже. — Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю, — и прежде чем любоваться красотой истукана — будь он распрефидиасовский Аполлон — мое право, моя обязанность накормить своих — и себя, назло всяким негодующим баричам и виршеплетам!» Но Белинский был слишком

умен, у него было слишком много здравого смысла, чтобы отрицать искусство, чтобы не понимать не только его важность и значение, но и самую его естественность, его физиологическую необходимость. Белинский признавал в искусстве одно из коренных проявлений человеческой личности — один из законов нашей природы, указанных нам ежедневным опытом. Он не допускал искусства для одного искусства, точно так же, как бы он не допустил жизни для одной жизни: недаром же он был идеалист. Все должно было служить одному принципу, искусство — так же, как наука, но своим, особенным, специальным образом. Воистину детское, и к тому же не новое, подогретое объяснение искусства подражанием природе не удостоилось бы от него ни возражения, ни внимания; а аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что этот пресловутый аргумент лишается всякой силы — как только мы возьмем человека сытого¹⁸. Искусство, повторяю, было для Белинского такой же законенной сферой человеческой деятельности, как и наука, как общество, как государство... Но и от искусства, как и от всего человеческого, он требовал правды, живой, жизненной правды*. Сам он, впрочем, в области искусства чувствовал себя дома только в поэзии, в литературе. Живопись он не понимал и музыке сочувствовал очень слабо. Он сам очень хорошо сознавал свой недостаток и уж и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статьи Гоголя об Иванове и Брюллове могут служить поучительным примером, до какой уродливой фальши, до какого вычурного и лживого пафоса может завратиться человек, когда заберется не в свою сферу¹⁹. Хор чертей в «Роберте-дьяволе» был единственной мелодией, затверженной Белинским: в минуты отличного расположения духа он подвывал басом этот дьявольский напев. Пение Рубини потрясало его; но не музыкальное совершенство ценил он в нем, а патетическую, стремительную энергию, драматизм выражения. Все драматическое, театральное глубоко проникало в душу Белинского, так и зажигало ее. Его статьи о Мочалове, о Щепкине, вообще о театре дышат страстью; надо было видеть, какое впечатление производило на него одно воспоминание об игре Мочалова в «Гамлете», о том, как он в известной сцене представления трагедии перед преступным королем произносил, задыхаясь от восторга и ненависти:

Оленья ранили стрелой...

Была одна причина, которая заставляла иногда Белинского избегать разговоров о театре, о драматической литературе, особенно с малознакомыми людьми: он боялся, как бы не напомнили ему

* См. первое прибавление в конце отрывка.

про его комедию «Пятидесятилетний дядюшка», написанную им некогда в Москве и напечатанную в «Наблюдателе»²⁰. Комедия эта точно весьма слабое произведение; она принадлежит к худшему из родов — к слезливо-нравственному, сентиментально-добродетельному; в ней выводится великодушный дядюшка, влюбленный в свою племянницу и приносящий свою любовь в жертву юному сопернику. Все это изложено пространно, натянутым, мертвенным слогом... Белинский не имел никакого «творческого» таланта. Эта комедия да еще статья о Менцеле были ахиллесовой пятой Белинского, и упомянуть о них при нем — значило оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Менцеле он себе простить не мог: комедию свою он признавал эстетической, литературной ошибкой, а в той статье он видел ошибку гораздо худшего свойства. Статью о Менцеле он написал под мгновенным влиянием нетерпения, тоскливого желания перейти из области недосыаемых идеалов к чему-нибудь положительному, реальному, как будто то, что существовало тогда, могло иметь реальное значение, могло удовлетворить добросовестного человека! Бедный Белинский, конечно, не имел понятий, что за птица был господин Менцель, и взялся за это лицо чисто с априорической, отвлеченной точки зрения...²¹ В этом случае недостаточное знание фактов сыграло с ним злую шутку... Существовала еще статейка о Бородинской годовщине. Я было как-то заговорил с ним о ней... Он зажал себе уши обеими руками и, низко наклонясь вперед и качаясь из стороны в сторону, зашагал по комнате. Впрочем он поболел квасным патриотизмом недолго²². Вообще лучшие статьи Белинского были написаны им в начале и перед концом его карьеры; в середине проскочила полоса, продолжавшаяся года два, в течение которой он, начинившись гегелевской философией и не переварив ее, всюду с лихорадочным рвением пичкал ее аксиомы, ее известные тезисы и термины, ее так называемые Schlagwörter. В глазах рябило от множества любимых тогдашних оборотов и выражений!* Надо же было и Белинскому заплатить дань своему времени! Но эта волна скоро сбежала, оставив за собою только хорошие семена, и снова явился во всей своей мужественной и бесхитростной простоте русский язык Белинского, славный язык,

* Советую любопытному читателю, желающему наглядно убедиться, до чего могло дойти тогдашнее философствование, отыскать в «Смеси» одной из книжек «Отечественных записок» за 40 или 41-й год статейку, написанную, впрочем, не Белинским, а самим издателем, — в защиту выражения, употребленного Искандером, будто бы «Наполеон — кверху ногами поставленный Карл Великий», — выражения, поднятого на смех другим журналом. Комизм тут тем более забавен, что весь проникнут угрюмой важностью и даже не подозревает, до какой степени он прелестен!

ясный и здравый. Белинский, можно сказать, импровизировал свои статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, на отдельных полулистах, без помарок, крупным, круглым почерком. Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и обдумывать каждое выражение, и потому поневоле впадал в некоторую многоглаголивость; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, с легкой руки покойного Писарева утвердилась у нас в критическом отделе журналов, он далеко не доходил; статьи его все-таки оставались литературным произведением и не превращались в дряблый разговор, в пухлые вариации на избитые темы — вариации, от которых, несмотря на весь их задор, так и отдает ученической тетрадью.

<...>



Н. А. НЕКРАСОВ

Медвежья охота

<Фрагмент>

Еще добром должны мы помянуть
Тогдашнюю литературу,
У ней была задача: как-нибудь
Намеком натолкнуть на честный путь
К развитию способную натуру...
Хорошая задача! Не забыл,
Я думаю, ты истинных светил,
Отметивших то время роковое:
Белинский жил тогда, Грановский, Гоголь жил,
Еще найдется славных двое, трое —
У них тогда училось все живое...

Белинский был особенно любим...
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

В те дни, как все коснело на Руси,
Дремля и раболепствуя позорно,
Твой ум кипел — и новые стези
Прокладывал, работая упорно.